В. ВАХОВСКАЯ
(БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ)

ЖИЗНЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ

Изд-во ПОЛИТКАТОРЖАН МОСКВА

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА“

1928 г. № 9

В. ВАХОВСКАЯ
(БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ)

ЖИЗНЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и СС.-ПОСЕЛЕНЦЕВ
Москва—1928

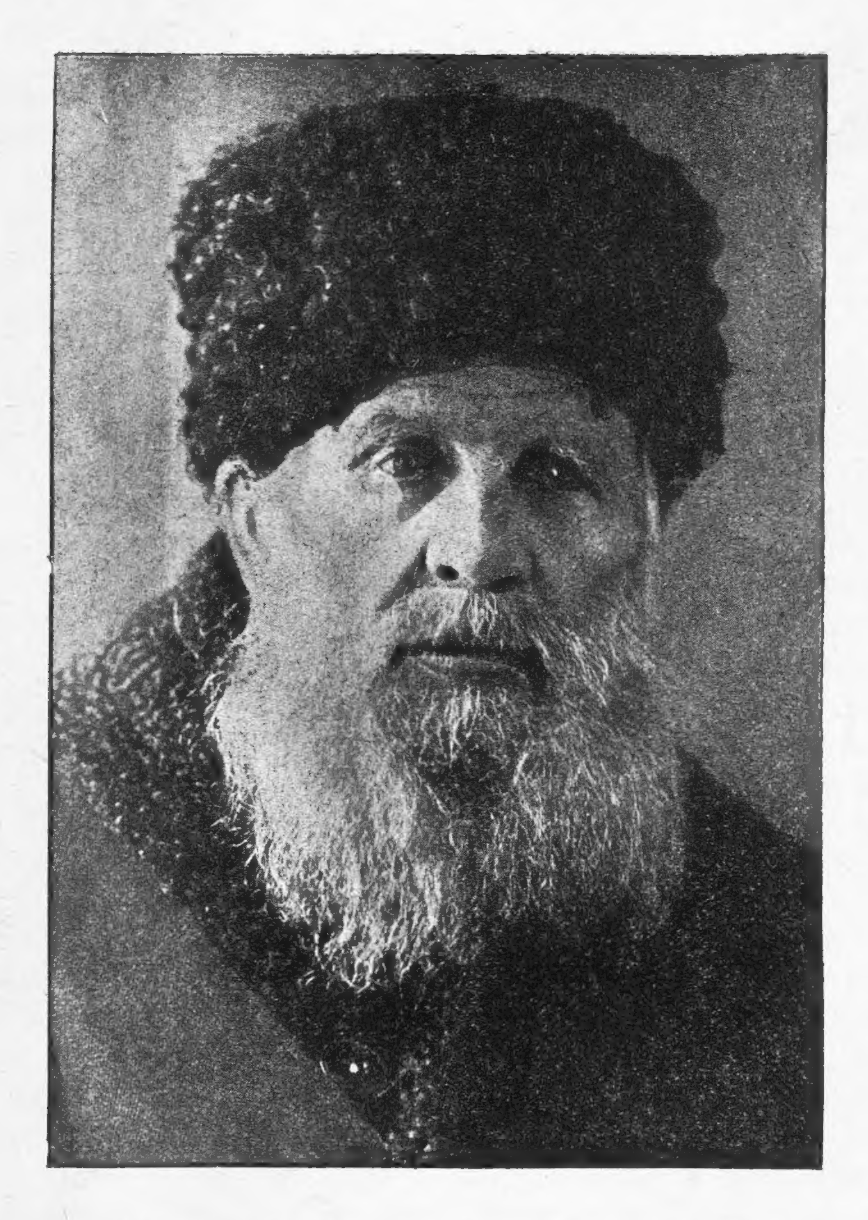
КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
указанного здесь срока.

Колич. предыд. выдач..........................


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
-И-
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

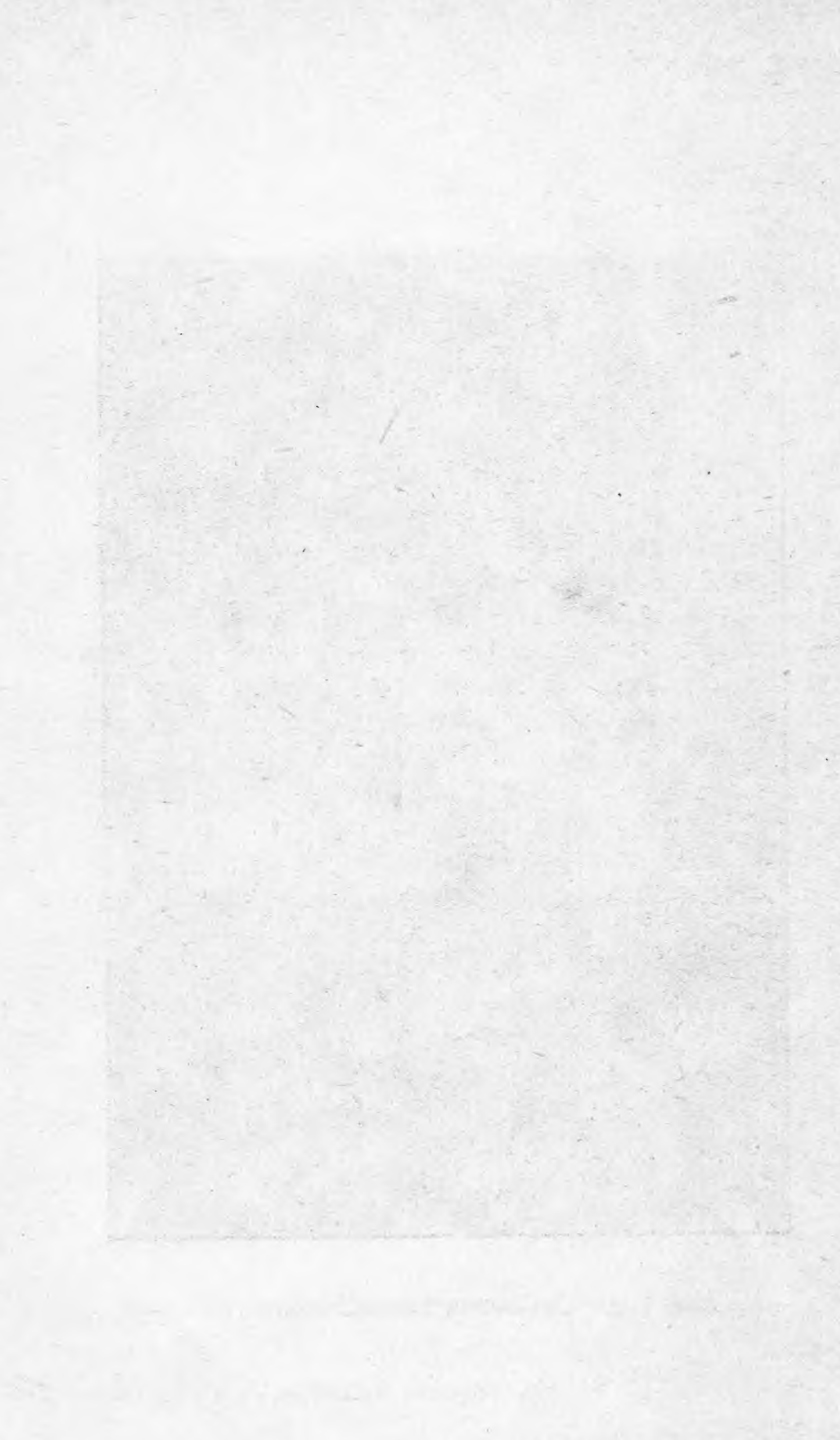


Варвара Ивановна Ваховская (Бонч-Осмоловская).



Анатолий Осипович Бонч-Осмоловский.

Из собрания Музея Каторги и Ссылки.



Я родилась в 1855 г. в Херсонской губ., в имении деда моего Качулова. Через три года семья моя переехала в Каменец-Подольск, где отец служил чиновником в губернском правлении. Отец мой был поляк, мать русская. В 1863 г. по Подольской губернии протекла волна польского восстания; фактической стороны этого восстания я не помню, но у меня остались в памяти пережитые волнения. Помню рассказы о столкновениях поляков с русскими войсками, о геройских подвигах восставших, о жестокостях, чинимых над побежденными поляками, о казнях, о вдовах и сиротах. Видела разные вещи, вроде колец, брошек, цепей, как символы восстания, таинственно укрываемые; слышала польские гимны, распеваемые шопотом при закрытых дверях и окнах. Все это, как я думаю, дало первый толчек развитию моего революционного направления. Затем преследование польского языка, черных платьев, закрытие костелов, увольнение польских служащих вызвало во мне сочувствие к побежденным, отвращение к насилию и сильный протест против русского правительства.

С 12 лет я училась в гимназии, а с 15 лет начала серьезно читать с 2-3 своими подругами по классу. Писарев, Чернышевский, Мордовцев, Омулевский

отвлекли меня от протеста против политического гнета и направили его против экономического неравенства, против угнетения бедных — богатыми, необразованных — учеными, слабых — сильными. Все симпатии мои обратились к угнетенным, бедным. Мне стало совестно, что у меня есть средства к жизни, что я не принуждена зарабатывать на свое пропитание. Мне хотелось бедности, труда, борьбы. Я сердцем поняла, что своим существованием обязана трудящимся, что я в долгу у них и должна отдать все свои силы для облегчения их положения и изменения условий, способствующих развитию такого неравенства. Но как это сделать? Надо учиться, учиться и найти разгадку в науке. Я решила ехать за границу в университет, пройти естественные науки, затем исторические; на основании этих знаний — об'яснить прошедшее и настоящее, определить будущее и тогда уже начать действовать. С такими обширными планами я, после года тяжелой борьбы с родителями уехала в Цюрих 17 лет от роду. В Цюрихе у меня никого не было знакомых; на улице, услыхав русский говор, я подошла и познакомилась с тремя девушками, с которыми вскоре очень сдружилась. Они были близки к кружку Бакунина, который в 1872 г. часто посещал Цюрих и проживал в нем.

Это был год горячей борьбы в Интернационале: Бакунин был исключен, а дружеские ему секции Швейцарии, Испании, Италии, отделились от Интернационала и образовали Южную Федерацию. Я была крайне удивлена, узнав впервые, что на свете идет уже борьба трудящихся с нетрудящимися, рабочих с капиталистами. С жадностью набросилась на рабочие газеты, изучала рабочий вопрос, социальное движение. Наука отошла в сторону. Распри в Интернационале тяжело отзывались на моей душе. Я считала всех борцов за уг-

нетенных — такими высоко-идеальными личностями, что их распри были мне непонятны. Увы, Цюрихская жизнь среди русских нанесла тяжелые удары моему идеализму. Мои товарки предложили мне познакомиться с Бакуниным, но я отказалась. Мне казалось несообразным знакомство такого великого человека со мной, ничтожной девочкой. Однажды вечером, когда я сидела в своей комнате, окруженная газетами и книгами, постучали в мое окошко и позвали на улицу. Я вышла и увидала громадную, величественную фигуру Бакунина, окруженного несколькими молодыми девушками. Был чудный осенний вечер, меня позвали погулять. Таким образом состоялось наше знакомство. Бакунин звал меня к себе играть на рояли. Бетховен был и его и моим любимым композитором, и я стала приходить к нему играть сонаты Бетховена. Он занимал большую комнату с совершенно простой обстановкой. У него собиралось 15-20 молодых людей, которые, разместившись группами, непринужденно разговаривали, спорили, пели; я играла на рояли, а Михаил Александрович сидел за большим столом, заваленным бумагами и газетами, с трубочкой в зубах и пером в руке писал. Время от времени он откладывал перо, прислушивался к разговорам, вставлял свои замечания, шутил, подходил к роялю, просил повторить некоторые места, делал свои замечания о моей музыке, к которой относился одобрительно. Несмотря на разницу лет, умственного развития, эрудиции, жизненного опыта, молодежь чувствовала себя очень свободно и непринужденно в обществе Михаила Александровича, не оказывавшего ни малейшего подавляющего влияния, хотя подчас он и журил, делал выговоры, но все это в такой добродушной форме, так деловито спокойно, убежденно, что всякий принимал, как должное.

Я поступила членом в Бакунинский кружок, который не был многочисленным, но состоял из солидных и по возрасту и по умственному развитию членов. Главным руководителем кружка был Михаил Петрович Сажин, человек сильной воли, глубокого ума и безграничной энергии и деловитости. Он резко выделялся среди цюрихского общества русских, состоявшего большею частью из людей молодых, болтливых, шумливых, у которых внутри еще все бурлило. У Сажина уже все перебурлило, были выработаны стойкие убеждения, строгие основы жизни. Он очень мало говорил но много делал. Бывало на наших собраниях поднимался какой-либо вопрос; все много говорили за и против, спорили. Сажин все молчал, и под конец резюмировал все сказанное, делал вывод, предлагал решение, с которым обыкновенно все соглашались. К весне 1873 г. кружок устроил типографию и началось печатание «Государственности и анархии» Бакунина. Все дело по устройству типографии и печатанию вел Сажин.

Другим кружком в Цюрихе, гораздо более многочисленным, был кружок Лаврова. В нем не было такого строгого подбора и рядом с выдающимися людьми, как, конечно, сам Лавров, Смирнов, Подолинский, Чернышев, было много совсем зеленой молодежи. Я — одна из бакунисток бывала в этом кружке и сдружилась с несколькими выдающимися девушками, с которыми мы образовали женский кружок, поставивший своей целью изучение развития социалистических идей и движения. Большинство участниц этого кружка судились впоследствии по процессу 50-ти. За это время я окрепла в своем направлении: я верила, что русский народ по натуре своей социалист, что община есть первая основа социалистического быта, что освобожденная от опеки правительства

и свободно развивающаяся, она приведет к социалистическому строю. Надо итти в народ, оформить его социалистическое мировоззрение, организовать для восстания. Я уехала в Россию, в Петербург.

Зима 1873 — 1874 года прошла среди петербургской молодежи очень оживленно; устраивали собрания, на которые приходило много народу. Вопрос о том, что нужно итти в народ, был уже решен, и речь шла о том, в каком именно положении туда отправляться и что делать. Одни говорили, что нужно итти рабочими и организовать восстания, другие считали более целесообразным занимать привилегированное положение, как-то сельских учителей, писарей, акушерок, и учить народ, знакомить со всеми неправдами жизни, с социалистическим строем, со способами борьбы. Сообразно с этими направлениями образовались кружки.

Я поселилась с Евгенией Константиновой Судзиловской, бывшей со мною в кружке Бакунина в Цюрихе; оттуда же приехал Лермонтов, вошедший в сношения с Сажиным и Бакуниным; к нам примкнуло еще несколько лиц, и мы образовали кружок. Прислали нам из-за границы литературу, в том числе уже отпечатанную «Государственость и анархия». Мы занимались ее распространением, сношениями с молодежью и кружками и к весне собирались все в народ. Дружественным нам, как по идее, так и по общности происхождения от Бакунина, был кружок Ковалика. Сергей Филиппович Ковалик был крупной фигурой среди тогдашней молодежи. Умный, образованный, развитой, вполне сложившийся к тому времени, он очень энергично проводил программу своей деятельности. Работал он как-то легко, всегда с улыбкой, точно между прочим. Мне всегда казалось, что это

не его настоящая работа, что он должен совершить что-то очень большое. В январе 1874 года Лермонтов, Кокушкин и я были арестованы III отделением. У кого-то из арестованных на границе нашли мой адрес, кто-то сказал на допросе, что я просила добыть мне крестьянский паспорт. Просидела я в III отделении 3 месяца и меня освободили. Многих моих друзей я уже не застала — они ушли в народ, в том числе и Судзиловская. Затем пошли аресты ушедших в народ, кружки разваливались, связи терялись. Надо было сохранить и об'единить оставшихся.

Я начала вести занятия с рабочими; в квартиру портного Чукура приходили рабочие с фабрик, с которыми я читала и беседовала, но это продолжалось не долго, благодаря очень досадному случаю. В той квартире, где жили рабочие, с которыми я занималась, были еще и другие, не распропагандированные, которые напились, учинили скандал; пришла полиция, сделала обыск; в сундуке моих рабочих нашли нелегальные книжки. Узнали, что они получены из квартиры Чукура; таким образом проследили меня и в начале января 1875 г. я была арестована и уже надолго.

Меня причислили к большому делу, из которого создали процесс 193-х. Сначала я была в заключении в Коломенской части, потом в Рождественской, и к осени, когда была окончена постройка дома предварительного заключения, меня одной из первых привезли туда, где я и просидела до 1878 г., когда начался наш суд.

Одиночное заключение я переживала сравнительно не тяжело: я много читала, шила, вышивала и артистически перестукивалась.

Меня приговорили к ссылке в отдаленные губернии России, но как несовершеннолетнюю, отдали условно на поручительство отца в Подольскую губ.

в имение, под строгий надзор. В Подольской губ. я была еще первая поднадзорная из социалистической молодежи, и мне было очень смешно, когда я, при приездах моих в г. Каменец-Подольск, приходила в полицию для явки, в обществе ксендзов, подвергавшихся в то время такому же надзору и смотревших на меня, как на товарища по несчастью, с крайним удивлением.

В деревне у отца я пыталась заниматься в приходском училище, но меня очень скоро выдворили оттуда. В этой глуши я не была вполне оторвана от революционного движения, благодаря тому, что меня изредка навещали мои друзья: Софья Перовская и другие. Они знакомили меня с программами народившихся партий «Народная Воля», «Черный Передел» и предлагали вступить членом каждый в свою партию. Я не решалась. Изменения программы работы были настолько серьезны, что мне нужно было проверить выводы на основании фактов жизни; кроме того, по самой природе своей я могла быть членом действующим, а не только сочувствующим; действовать же сейчас не могла, так как не решалась порвать со всем прошлым и стать нелегальной. Я отложила свое решение до того времени, когда мне удастся освободиться от поручительства отца, которое меня очень стесняло.

Я вышла замуж за Анатолия Осиповича Бонч-Осмоловского, которого я знала еще студентом в Питере, и уехала с ним в его имение Блонь, Минской губ., Игуменского уезда. Осенью 1880 года я побывала в Питере, где встретилась со своими товарищами по процессу.

Особенно памятен мне один вечер, проведенный на квартире Желябова и Перовской, где собрались, кроме них, Тихомиров, Якимова, Михайлов и еще несколько лиц. Перовская, по внешнему виду скромная молоденькая девочка, сидела у стола и

что-то шила, тихо разговаривая со мной. На мое замечание: «Вы отходите от народа», она, со слезами на глазах, ответила: «Да, я всегда думала жить в деревне и работать с крестьянством, но это невозможно, нам не дают, другого выхода для нас нет». Желябов горячо и вдохновенно развивал план действий революционной партии после цареубийства. Он верил, что смерть царя вызовет народное восстание, но, прибавлял он: «если даже восстание не произойдет, а только покушение удастся и царь будет убит, я удовлетворенным пойду на казнь». Тихомиров спокойно, методично излагал план созыва учредительного собрания. Якимова сияла здоровьем, счастьем и верой в правоту своего дела. Все были воодушевлены, жили полною жизнью, верили в близость победы. Мы разошлись: Тихомиров проводил меня до моей квартиры, я остановилась в гостинице. Был отвратительный, холодный, дождливый, осенний вечер; мы затопили камин, согрелись, явилось настроение излить душу, и Тихомиров рассказал, как сильно он устал душевно; нервы не выдерживают постоянного напряжения ума и чувства, хочется покоя, бесконечного покоя: ни о чем не думать, ничего не чувствовать, ничего не делать. На мое замечание, что необходимо дать себе отдых, освежить силы, которые опять пойдут на то же дело, и укрепленные, освеженные будут еще производительнее, он сказал, что это невозможно, не такое время, надо дорожить каждой минутой и крепко стоять на своем посту. Он остался на своем посту, но силы надломились, нервы измотались, и человек, как говорят крестьяне, стал порченным.

В 1882 г. я была в Одессе, где встретилась с Верой Николаевной Фигнер, начавшей меня знакомить со своими кружками. В это время в Вильно был арестован мой муж по подозрению в устройстве типо-

графии в Минске, добрались до меня, но, к счастью, я сейчас же заметила слежку за собой, успела во время предупредить своих знакомых и прекратить всякие сношения с ними. Через несколько дней меня арестовали, но никаких следов я за собою не оставила, никому не повредила и против меня были только неясные подозрения. Продержали меня 4 месяца и освободили под надзор. Я уехала в Вильно, узнать о судьбе мужа, но здесь, по телеграмме из Одессы, опять была арестована и после двухмесячного заключения водворена в Блонь под строгий надзор, без права выезда.

Настала глухая реакция. Друзья мои рассеялись по всему свету: кто в тюрьмах, кто в ссылке, кто эмигрировал за границу. Я чувствовала себя очень одинокой. Вера в возможность немедленного восстания, а с нею и энтузиазм, с которым я готова была при первом призыве отдать без сожаления жизнь свою на благо человечества, улеглись. Явились новые заботы — дети. Я решила, что теперь не время призывать к восстанию, а нужно, пользуясь моментом затишья, готовить отдельных личностей из народа, способных быть руководителями масс, и я сделала попытку проникнуть в школу, но вскоре приехал инспектор народных училищ и пригрозил учителю с. Блони увольнением, если он будет вести с нами знакомство. Учитель Казакевич был очень милый, молодой парень; мы сдружились с ним, и он тайком посещал нас с некоторыми своими старшими учениками, крестьянами с. Блони. Из этого поколения наших учеников выработалось несколько интересных типов.

Иван Цеханович — очень умный человек, развитой, много читавший, пользовался влиянием среди крестьян; был выбираем в сельские старосты, затем волостным старшиной, но тут он сбился с пути, отошел от нас, крестьяне стали относиться

к нему с недоверием. Я была уверена, что он к нам вернется, что это временное помрачение, но, к сожалению, он захворал и помер.

Николай Цеханович — прирожденнный революционер. Умный, предприимчивый, настойчивый. Врожденный ему революционный темперамент всегда толкал его на протест и подчас на оригинальные выходки. Он два раза был ссылаем в Сибирь; первый раз с моим сыном Иваном за образование кружков среди крестьян и агитацию. Вернувшись по амнистии, он опять принялся за революционную работу. По профессии садовник, он ходил засаживать и обрезывать сады в окрестные деревни и тут агитировал во всю. Он подбил крестьян написать прошение об отнятии земли у двух соседних сановников и разделе ее среди крестьян. В 1905 г. он убеждал крестьян собраться толпой и итти в Минск подымать восстание. Эта пропаганда не имела успеха. Во время выборов во 2-ю Государственную Думу он добыл себе у пристава визитную карточку, с которой ему был широкий простор собирать в деревнях сходы и готовить к выборам. Пристав был уверен, что он будет агитировать за октябристов. Но не тут-то было. Цеханович вел самую широкую агитацию за раздел земли и т. д. Это дошло до жандармского управления, сообщившего приставу и потребовавшего ареста Цехановича. Пристав боялся его арестовать из-за своей карточки и обратился ко мне с просьбой уговорить Цехановича вернуть ему ее. Конечно, Цеханович не отдал, но в конце концов его арестовали и вторично отправили в Сибирь, где он и умер.

Василий Шибайло — типичный революционер — белорусс, спокойный, стойкий, упрямый. Он владел только одной десятиной земли и зарабатывал плотничеством, затем изучил у нас крахмальное произ-

водство. В душе его всегда таилась вера в раздел помещичьей земли, при котором и он свою часть получит. Он так глубоко верил в это, что, несмотря на самые выгодные для него предложения работы на стороне, не хотел уходить из своего села, чтобы не прозевать раздела. Он агитировал за сельскохозяйственную забастовку, чтобы никто из крестьян не шел к помещикам работать, уверяя, что не работая можно очень мало есть и хватит на пропитание своих деревенских средств; паны долго не выдержат такой забастовки и сдадутся. Он был арестован по делу моего сына Ивана, просидел больше полугода в Минской тюрьме.

Степан Мигуцкий—крестьянин, хозяин, тяжелодум, с тяжело ворочающимися мозгами, но с мягкой, нежной душой, склонный к восприятию толстовского учения. Он бесконечно любил нелегальную литературу, благоговел перед нею. Когда блонская молодежь решила устроить свою библиотеку, муж мой достал много нелегальной литературы, и библиотека сдана была Степану Мигуцкому, который хранил ее, как зеницу ока. Два раза был арестован по делу Ивана Бонч-Осмоловского и по нашему общему делу в 1908 г. И по первому, и по второму просидел долго в тюрьме, но это заключение не уменьшило в нем любви к книжке. Умер он от тифа в 1919 г. Это были более выдающиеся типы революционной блонской молодежи, начиная с 1885 г.

Около этого времени (девяностые годы) Анатолий Осипович Бонч-Осмоловский задумал устроить из более развитых парней земледельческую артель на социалистических началах, для чего выработал соответствующий устав и отдал артели полевое хозяйство с необходимым инвентарем и семенами, но подошел крайне неудачный год — полный неурожай, что вызвало разочарование у мало созна-

тельных членов, и артель распалась. Сознательных же членов артели, во главе с Николаем Цехановичем, было недостаточно для того, чтобы продолжать дело.

Второе поколение молодежи развивалось уже под влиянием старшего, а также моих детей: Ивана, Ирины, и Родиона, к тому времени уже подросших. Дети наши учились в Блонской сельской школе, что дало им возможность сблизиться с крестьянскими детьми и завести среди них друзей.

Самым выдающимся из революционных деятелей села Блони был Максим Лукашек, отдавшийся вполне революционной работе, ушедший от земли, семьи, из родной деревни. Деятельность его была обширна, указания на нее встречаются в литературе. Он поступил в партию социалистов-революционеров, а потом стал максималистом. Два раза был сослан в Сибирь. Первый раз вернулся по амнистии, второй — бежал. В ссылке у него начал развиваться туберкулез; он пришел к убеждению, что жить больному не стоит и решил лишить себя жизни, но ему захотелось домой, в последний раз повидать родные места, и в одну глухую ночь он, крадучись, пробрался в село Блонь, в усадьбу своей сестры, где спрятался в сено. На другой день сестра его пришла мне сообщить об его прибытии. Положение его было очень опасно; вокруг крестьянские усадьбы, его легко могли увидеть. На родине он почувствовал себя лучше, явилась надежда на излечение, а с нею и отвращение к самоистреблению, как он говорил. Мы решили прежде всего найти ему безопасное помещение. Анатолий Осипович уехал в Гомель и здесь Кулябко-Корецкий предложил поместить его временно у себя. И вот опять ночью с большими предосторожностями Максим добрался до вокзала,

сел в вагон, где встретил Анатолия Осиповича. Он прожил в Гомеле, пока не удалось при содействии братьев Луцкевичей устроить его в санатории близ Вильно, где он пробыл 2 месяца, а затем перевезли его за границу и устроили в Давосе, в Швейцарии. До войны я с ним переписывалась и посылала ему деньги. Война прекратила наши сношения и только потом я узнала, что он помер в санатории.

В Блони собирались самые разнообразные революционные элементы. Во время реакции 80-х годов, когда стало развиваться толстовство, к нам присылали юношей обучаться сельско-хозяйственным работам, которые затем шли в толстовские общины. Возвращавшиеся из ссылки из Сибири заезжали в Блонь и здесь отдыхали, осматривались. Так побывали здесь: Бутовская, моя подруга по гимназии, приговоренная к 4 годам каторги, Сергей Филиппович Ковалик с женой и дочкой, после многолетней каторги и ссылки, мой старый знакомый и товарищ по работе в петербургских кружках 70-х годов, близкая моя знакомая юных дней Е. К. Брешковская. Здесь она познакомилась с Григорием Гершуни и Любовью Клячко и здесь в 1899 г. зародилась партия социалистов-революционеров. Собиралась в Блони и социал-демократическая молодежь, товарищи примкнувшей к социал-демократической партии дочери моей Ирины, как Рагозин, Биски. Многих нелегальных отсюда перевозили за границу, многие приезжали просто отдохнуть. Минские жандармы рвали и метали. «Как только настанет весна — говорили они — с'езжаются в Блонь революционеры со всего света и следи тут!»

Из моих минских знакомых во время моей молодости предо мной ярко выступает образ Евгении Адольфовны Гурвич. Мы с ней не были связаны

никакими делами, но эта скромная, молодая девушка с сильно развитым умом, обогащенным солидными знаниями, с нежной, отзывчивой душой, возбуждала во мне уважение и нежное чувство любви. Я радостно следила за ростом ее политической личности и восхищалась ее стойкостью, твердостью и верностью себе во все время ее политической деятельности.

С 1900 г. много времени и сил уходило у меня на хлопоты и заботы о членах моей семьи, подвергавшихся арестам и ссылкам. Старший сын Иван был арестван в Минске еще гимназистом 7-го класса в 1901 г. и сослан на три года в Сибирь; затем, будучи секретарем трудовой группы 2-ой Государственной Думы, он подвергся аресту в Питере. Дочь Ирина была арестована в 1901 г. во время демонстрации на Казанской площади, затем примкнула к социал-демократической партии и неоднократно подвергалась преследованиям. Анатолий Осипович был арестован в 1901 г. и сослан в Сибирь. Сын Родион впервые был арестован в Питере в 1904 г., а затем в 1905 г. на с'езде социалистов-революционеров в Киеве, за что был судим и приговорен к 3 годам крепости и полностью отбыл наказание. Обо всех их надо было хлопотать, ездить на свидания, а у меня на руках были еще двое малолетних детей, да сельское хозяйство, которое мы держали в порядке и старались вести образцово. Когда Анатолий Осипович был выслан, мне в хозяйстве много помогал наш друг, вернувшийся из восточной Сибири, отбывший 8 лет ссылки в Верхоянске, агроном Мориц Лазаревич Соломонов. Только благодаря его дружбе, знаниям, энергии, способности благотворно влиять на окружающих, я могла справиться с такой непосильной для меня работой. Но и его не миновала чаша сия. И его арестовали в Блони по тре-

бованию из Петербурга и увезли туда. Я осталась совсем одна, руки у меня опустились, отчаяние овладело мною. К счастью Соломонову удалось оправдаться от возводимых на него обвинений и через два месяца он вернулся.

Революция 1905 г. принесла мне тоже много забот. Все мои—Анатолий Осипович, Иван, Ирина, Родион Бонч-Осмоловские, племянница Варвара Ваховская (по мужу Антошина) ушли в революцию. Во время московского восстания у меня не было никаких сведений о них; я не знала, живы ли они и вот с первым, отходящим из Минска в Питер поездом я уехала, решив пробраться в Москву и розыскать их. В Питере я прочла в газете о задержании в Киеве с'езда социалистов-революционеров, и между фамилиями арестованных прочла: «Бонч-Осмоловский». Который именно — не знала, но несказанно обрадовалась, значит, хоть один жив. Здесь же я розыскала Варвару Ваховскую, через нее получила связи в Москву и с первым отходящим в Москву поездом уехала. Приехала я на следующий день после взятия Пресни семеновцами. Полное разорение, простреляннные дома, загроможденные улицы, темнота, выстрелы то там, то здесь. Жутко, тяжело! Скоро я нашла Ирину и Ивана, а через них и квартиру Анатолия Осиповича, куда стали стекаться беглецы с Пресни, радостно встречаемые. Тут были: Евгения Ратнер, Соколов-«Медведь» и много других.

Нам было очень странно и трудно вести социалистическую пропаганду среди крестьян в положении помещиков, но тут нам помогало само правительство. Постоянными слежками, обысками, арестами оно возбуждало сочувствие и доверие к нам со стороны крестьян. Бывало, только что выйдут из вагона жандармы, приехавшие из Минска в Пуховичи для производства обыска в Блони, как кто-

нибудь с вокзала бежит нас уведомить и часто даже лица совсем незнакомые. Во время нашего суда в Минске надо было сорвать сессию суда, так как адвокаты наши не решались вести дело при данном составе. Суд был сорван по болезни Анатолия Осиповича Бонч-Осмоловского. Судьи пришли в ярость и немедленно послали доктора и прокурора в Блонь, где находился больной, для его освидетельствования. Из Минска они послали телеграмму, чтобы лошади на вокзале были готовы. И, действительно, пристав ждал их и пара лошадей для них стояла у крыльца. Они поспешно сели и тронулись, пристав впереди, они сзади. От'ехав немного, ямщик приостановил лошадей, как бы что-то поправляя, пропустил на некоторое расстояние пристава, а сам свернул в противоположную сторону, по дороге в Игумен. Ехали они, ехали долго, пока, наконец, прокурор не усомнился и не спросил, скоро ли, наконец, будет Блонь. Ямщик удивленно ответил: «Вам в Блонь, а я думал — в Игумен», и повернул обратно лошадей. В Блони все в недоумении, отчего они не едут; пристав рассылает в разные стороны верховых их искать. Так прошло часа два, пока, наконец, они приехали. По этому поводу было следствие, допрашивали многих, но ничего не выяснили. Ямщик был нам совершенно не знаком и устроил это по собственному почину. Большое дело, созданное правительством о «пропаганде в Блони», было очень неудачно для обвинения. Обвиняемыми были Анатолий Осипович, я, Варвара Ивановна, сын наш Иван Бонч-Осмоловский, племянник мой Владимир Ваховский, учительница Ермолина и крестьяне села Блони Степан Мигуцкий, Максим Лукашек, Виктор Каток. Привлекался еще Николай Цеханович, но он к этому времени помер в Сибири. Против нас имелись показания приставов, урядников, одного

крестьянина из села Блони и вокзального сторожа. Два последние на суде отказались от своих показаний, как вынужденных у них угрозами полиции. Кроме полицейских показаний, ничего не осталось. Как ни был настроен суд против нас, а пришлось нас всех оправдать. Прокурор подал кассацию в Сенат; назначен был второй разбор дела. Присудили Анатолия Осиповича, меня, Ивана Анатолиевича, Степана Мигуцкого к заключению на 9 мес. за хранение нелегальной литературы с зачетом предварительного заключения; Ермолину, Максима Лукашека и Виктора Катка к 1 году заключения за публичные выступления. Мне пришлось просидеть в Минской тюрьме 9 мес. предварительного заключения, в общих камерах. Несмотря на то, что мне уже было 52 года, а мои товарки были молодые девушки 20—25 лет, и на то, что нас в камере было человек 15, это заключение не было для меня тягостным, благодаря тому, что мои сожительницы очень заботливо, деликатно и внимательно относились ко мне. Я и теперь с удовольствием вспоминаю этих милых девушек, моих невольных девятимесячных сожительниц за замками и решетками.

Цена 12 коп.



СКЛАД ИЗДАНИЯ:

1) Правление и склад Издательства Политкаторжан, Москва-34, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-78.

2) Магазин Издательства Политкаторжан „МАЯК"— Москва-Центр, Петровка 7; тел. 3-63-20 и 4-18-12